



Н. В. УСТРЯЛОВ

**Пророческий бред
(Герцен в свете русской революции)**

Недавно мне довелось перечитать Герцена, — и с острой, свежей силой запечатлелась в сознании мысль о глубочайшей «органичности» русской революции, ее коренной связи с духовным ядром русской общественной мысли¹. Прямо поражаешься, до чего современны основные мотивы публицистики «Колокола», размышлений «Дневника», заветов «С того берега»...

Вне всякой зависимости от оценки свершающегося кризиса принуждаешься признать, что он национален в подлинном и полном смысле этого слова. Его пророчески предсказывали наши лучшие люди, то ужасаясь его ликом, как Достоевский, то зажигаясь его пафосом, как автор «Былого и дум» <...> Должно быть, в самом деле заложен он был в русской стихии, русском духе, и нужен был в замысле всемирно-историческом. Через него Россия исполняет некое мировое предназначение, являет народам какой-то великий урок (Чаадаев). Какое предназначение, какой урок, — сейчас мы можем только гадать и предчувствовать; узнаем по плодам. Но что духовная роль России в мире становится исключительной, как никогда, — этого не видеть могут разве только безнадежные слепцы да сухие книжные черви типа гётевского Вагнера. Вдумываюсь в настроения Герцена дней расцвета его публицистической деятельности. Потом, в знаменитых письмах «К старому товарищу» он разочаруется

во многих элементах своей революционной веры. Ее символ, однако, не становится от этого менее характерным. Герцен — пророческое явление всею линией своего жизненного пути.

I

Прежде всего, чрезвычайно знаменательна его оценка западноевропейского мира. Он чувствует, что крылья смерти веют над всей современной цивилизацией, для него ясна дряхлость старой Европы. Сдвиг неминуем, так долго продолжаться не может: «Все кончено: представительная республика и конституционная монархия, свобода книгопечатания и неотъемлемые права человека, публичный суд и избранный парламент. Дыхание становится легче, воздух чище; все стало страшно просто, резко <...> Куда ни помотришь, отовсюду веет варварством — из Парижа и из Петербурга, снизу и сверху, из дворцов и мастерских. Кто покончит, довершит? Дряхлое ли варварство скипетра, или буйное варварство коммунизма? Кровавая сабля, или красное знамя?»

«Принципы [17]89 года» изжили себя, и, так как современная Европа проникнута ими насквозь, — она умирает вместе с ними. — «Мне кажется, что роль теперешней Европы совершенно окончена; с 1848 года разложение ее растет с каждым шагом <...>

Разумеется, все народы погибнут, — погибнут учреждения: римские, христианские, феодальные, парламентские, монархические или республиканские, — все равно» (VIII, 29).

То, что стало основной злобой нашего революционного дня, великий русский публицист предчувствовал семьдесят лет тому назад. Политические формы Европы, устои «формальной демократии» внутренне гнили и должны быть сметены. И он говорит об этом почти словами русских революционеров двадцатого века, ополчающихся на «парламентаризм»: «Мир оппозиции, мир парламентских драк, либеральных форм, — тот же падающий мир. Есть различие — например, в Швейцарии гласность не имеет предела, в Англии есть ограждающие формы — но если мы поднимемся несколько выше, то разница между Парижем, Лондоном и Петербургом исчезнет, а останется один факт: раздавленное большинство толпою образованной, но не свободной,

именно потому, что она связана с известной формой социального быта» (V, 287).

Никакие политические реформы не способны облегчить положения. Никакая республика сама по себе сделать ничего не в состоянии. Герцен решительно обличает близорукость республиканцев типа Ледрю-Роллена и его друзей: «Республика — так, как они ее понимают, — отвлеченная и неудобноносимая мысль, плод теоретических дум, апофеоз существующего государственного порядка, преобразование того, что есть; их республика — последняя мечта, поэтический бред старого мира... Они воображают, что этот дряхлый мир может, как Улисс, поюнуть, не замечая того, что осуществление их республики мгновенно убьет его; они не знают, что нет круче противоречия, как между их идеалом и существующим порядком, что одно должно умереть, чтобы другому можно было жить. Они не могут выйти из старых форм, они их принимают за какие-то вечные границы и оттого их идеал носит только имя и цвет будущего, а в сущности принадлежит миру прошедшему, не отрешается от него» (V, 419).

Необходим социальный переворот, глубокий, радикальный. Он неизбежен и желателен одновременно. Только он обеспечит торжество действительной, а не мнимой демократии, только он освежит историю. Но, по мнению Герцена, парламентаризм настолько испортил западные народы, что они уже вряд ли способны самостоятельно порвать его оковы.

«Мы присутствуем при великой драме... Драма эта не более и не менее, как разложение христианско-европейского мира. О возможности (не добив, не разрушив этот мир) торжества демократии и социализма и говорить нечего. Если считать в империи Наполеона III 10 млн *citoyens actifs**, то один миллион падает на девять ретроградных, состоящих из буржуа, мелких землевладельцев, легитимистов и орангутангов. Орангутанги, не развившиеся в людей, составляют вообще четыре пятых сей империи и 0,96 всей Европы. *Suffrage universal*** — последняя пошлость формального политического мира, — дала голос орангутангам, ну, а концерта

* Активные граждане (*фр.*).

** Избирательное право (*фр.*).

из этого не составить... Из вершин общества европейского и из масс ничего не сделаешь; к тому же оба конца эти тупы, забиты с молодых лет, мозговой протест у них подгнил... Я решительно отвергаю всякую возможность выйти из современного импасса* без истребления существующего». И дальше: «Победа демократии и социализма может быть только при экстерминации** существующего мира с его добром и злом и его цивилизацией. *Революция, которая теперь готовится (я вижу ее характер очень вблизи) ничего не имеет похожего на предыдущие. Это будут сентябрьские дни в продолжении годов*» (V, 243, 246; курсив мой. — Н. У.).

Но, настойчиво подчеркивает Герцен, что освобождающаяся и творческая революция загорится впервые не на Западе, слишком усталом для творчества. Она может спасти западные народы — и только она одна! — но они уже не в состоянии своими силами дать ей жизнь. «Чем пристальнее всматривался, тем яснее видел, что Францию может воскресить только коренной экономический переворот — [17]93-й год социализма. Но где силы на него?.. где люди?.. а пуще всего — где мозг?.. Париж — это Иерусалим после Иисуса; слава его прошлому, но это — прошлое» (V, 23; VI, 534).

«Революционная идея нашего времени несовместна с европейским государственным устройством: они друг к другу идут так, как английские законы к Японии или бранденбургское право к древней Греции <...> Все в Европе стремится с необычайной быстротой к коренному перевороту или к коренной гибели: нет точки, на которую бы можно опереться; все горит, как в огне — предания и теории, религия и наука, новое и старое» (VI, 98 99). Как правоверные в Мекку, как крестоносцы в Иерусалим, устремились русские энтузиасты в Европу, «страну святых чудес», как ее назвал Хомяков². И что же? — «Средневековые пилигримы находили, по крайней мере, в Иерусалиме пустой гроб — воскресение Господне было снова подтверждено; русский в Европе находит пустую колыбель и женщину, истомленную мучительными родами» (VIII, 24).

* Импасса = impasse — тупик (голл., англ.).

** Экстерминация — уничтожение (лат.).

Вот еще когда в сознании русской интеллигенции слагались замыслы небывалой, несравненной революции! Властитель дум двух поколений, Герцен питал их идеями, прочно вкоренившимися в организм русского духа. Каковы бы они ни были, эти идеи и впечатления, — правильные или ошибочные, благодетельные или тлетворные, — они превращались в идеи-силы, готовые рано или поздно стать жизнью. Помимо этого, вершился эффективнейший факт: вождь западников констатировал смертную болезнь Европы. Жизнь подсказывала своеобразный творчески синтез славянофильства и западничества. И разве синтез этот не звучит лейтмотивом в бурной симфонии нынешней нашей грозы?..

II

Социализм, коммунизм — вот, по убеждению Герцена, единственное средство исцелить умирающую цивилизацию. Вся силу своего публицистического пафоса влагает он в проповедь новой религии. «Религия революции, великого общественного пересоздания, — пишет он сыну “с того берега”, — одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждений, кроме собственного сознания, кроме совести». И еще определеннее — в письме редактору журнала «L'Homme»: «Социализм отрицает все то, что политическая республика сохранила от старого общества. Социализм — религия человека, религия земная, безнебесная, общество без правления, воплощение христианства, осуществление революции <...> Христианство преобразовало раба в сына человеческого; революция преобразовала отпущенника в гражданина; социализм хочет из него сделать человека. Христианство указывает людям на сына Божия, как на идеал, социализмом сын объявляется совершеннолетним, человек хочет быть более чем сыном Божиим — он хочет быть самим собою» (V, 386; VIII, 30). Нетрудно заметить, что социализм тут воспринимается религиозно, и фейербаховская традиция загорается всеми огнями религиозно-революционного энтузиазма. На почве именно этих построений созреет тот герой Достоевского, который — помните? — выкинул на улицу святыне образа, «в своей же комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Молешота и Бюхнера,

и перед каждым налоем зажигал восковые церковные свечи»³...

Действительная, плодотворная революция — утверждает Герцен, — может быть лишь социалистической. «Современная религиозная мысль совершенно меняет свою основу. Современная революционная мысль — это социализм. Без социализма нет революции. Без него есть только реакция, монархическая ли, демагогическая, консервативная, католическая или республиканская!» (VII, 229). — Разве не та же самая мысль ляжет в основу нынешней русской «октябрьской» идеологии? Родство по прямой линии! Революция должна быть углублена, «буржуазная революция» с ее демократическими реформами есть лишь толчение воды в ступе... «Упрекайте и ругайте сколько угодно, — предвосхищает эту идею Герцен, — петербургский абсолютизм и нашу русскую безропотную покорность, но ругайте же везде и умеете разглядеть деспотизм всюду, в какой бы форме он ни являлся: в виде ли президента республики, или Временного правительства, или Национального собрания <...> Мы теперь видим, что все существующие правительства, начиная с наиболее скромного швейцарского кантона и кончая автократиею всея Руси, — лишь вариация одной и той же темы» (V, 328).

Но раз так, раз только социальная революция может спасти человечество, а Европа уже слишком утомлена, чтобы ее осуществить — то откуда же ожидать спасения? И взгляд Герцена крепко приковывался к России. Да, это именно она, это только Россия несет миру новую зарю. Великое дерзание — удел России, ибо она молода, она свободна от гирь многовековой культуры, стесняющих поступь Запада. При создавшихся условиях наша отсталость — наш плюс, а не минус. «Ничто в России не имеет того характера застоя или смерти, который постоянно и утомительно встречается в неизменяемых повторениях одного и того же, из рода в род, у старых народов Запада. В России нет ничего оконченного, окаменелого; все в ней находится еще в состоянии раствора, приготовления. Гекстаузен справедливо выразился, что в России всюду видны “недоконченность, рост, начало”. Да, всюду чувствуешь извесь, слышишь пилу и топор... Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы, свободнее

ее, что так отстали от нее... Европа идет ко дну оттого, что не может отделаться от своего груза, — в нем бездна драгоценностей, набранных в дальнем, опасном плавании. У нас это искусственный балласт, за борт его, — и на всех парусах в широкое море! Европейец под влиянием своего прошедшего не может от него отделаться. Для него современность — крыша многоэтажного дома, для нас — высокая терраса, фундамент. Мы с этого конца начинаем». И неоднократно цитирует Герцен, обращаясь к родине, глубокое четверостишие Гёте:

Dich stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit...⁴

«Не смейтесь — пишет он друзьям 6 сент. 1848 года. — Аминь, аминь, глаголю вам, если не будет со временем деятельности в России, — здесь (т. е. в западной Европе. — *Н. У.*) нечего ждать, и жизнь наша окончена — *ich habe gelebt und geliebt...*»* (VIII, 45; V, 110 и сл., 236).

«Мы обогнали, потому что отстали», — разве не точь-в-точь эту формулу упорно твердит в наши дни Ленин, разумеется, вне всякой сознательной связи с мечтой Герцена. Но эта мечта, становящаяся вещью, очевидно, как-то связалась с русской жизнью, вошла в организм души русской интеллигенции, и вот вдруг причудливо воплощается в грозу и бурю...

Итак, «Россия — юный шалопай, сидящий в тюрьме; он еще ничего не сделал путного, но обещает. Почтенный же старик рядом с ним уже много сделал, быть может, еще кое-что сделает, — но он стар...» (VIII, 90).

В духовном облике России обозначены черты, как раз необходимые для оздоровления современного человечества. Об этих чертах Герцен отчетливо напоминает Мишле в своем знаменитом письме к нему: «Россия никогда не будет протестантскою. Россия никогда не будет “*juste milieu*”**».

Россия никогда не сделает революции с целью отделиться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими. Мы, может быть,

* Я свое отжил и отлюбил (*нем.*).

** Золотой середины (*фр.*).

требуем слишком многого и ничего не достигнем; может быть, так, но мы все-таки не отчаиваемся. Прежде 1848 года России не должно, невозможно было вступить в революционное поприще, ей следовало доучиться, и теперь она доучилась» (VI, 457). Значит «теперь» т. е. в середине прошлого века, мы уже созрели для революции и доросли до социализма!!

Если в России нашему добровольному изгнаннику перлом революционного создания представлялась Европа, то в Европе его взор устремлялся домой. «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил своим духовным возвращением на родину. Вера в Россию спасла меня накануне нравственной гибели». И еще: «Дорого мне стало знание Запада; насколько мог, я его узнал, и расстался с ним. Я сочувствую его мыслям, но не сочувствую ни его людям, ни его делам. Вера в будущее России одна пережил все другие» (V, 110; VIII, 290).

Эта вера вдохновлялась не только величием, но и своеобразием исторической миссии России. В своем революционном подвиге наша родина не будет рабски руководствоваться образцами Запада. «Прошлое западных народов служит нам поучением и только; мы нисколько не считаем себя душеприказчиками их исторических заветаний». Россия семимильными шагами пройдет пространство, преодолевавшееся Западом кровью и потом на каждом вершке. «Не должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пойдет по иным законам?

Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования <...> Россия преодолела свою революционную эмбриогению в “европейском классе” <...> Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее виселицами, каторжной работой, казематами, ссылкой, разорением и нестерпимую жизнью, которой живем!» И в речи, произнесенной перед иностранцами 27 февраля 1855 г., в память февральской революции, Герцен бросает ту же мысль с чувством нескрываемой гордости: «Нам вовсе не нужно преодолевать вашу длинную, великую

эпопею освобождения, которая вам так загромоздила дорогу развалинами памятников, что вам трудно сделать шаг вперед. Ваши усилия, ваши страдания — для нас поучения. История весьма несправедлива, поздно приходящим дает она не обглодки, а старшинство опытности. Все развитие человеческого рода есть не что иное, как эта хроническая неблагодарность» (VI, 456; VIII, 46, 151).

Таким образом, великая революция придет из России, и старая Европа, до мозга костей больная мещанством, будет бояться этой революции. Бояться за свой «груз культуры», за «развалины памятников», за «бездны ценностей», ставших фетишами <...> Разве в этом бреде революционного романтизма нет ничего пророческого? Разве современная философия «скифства» не содержится в нем, как в зерне?⁵ Разве «зерцалом в гадании»⁶ не постигает он ту огромную пропасть между февральской импотенцией и мучительными октябрьскими родами, которую нам суждено узреть «лицом к лицу»? И, наконец, — разве не явился сам этот пророческий бред одной из сил, приведших Россию к нынешнему великому лихолетью?..

III

Свою веру в будущность России Герцен, как известно, связывал с чрезвычайно высокой оценкой крестьянской общины. Община приучила наш народ к социализму, от нее непосредственно легко перейти к социалистическому строю общества, осознанному на Западе, но невоплотимого там без русского импульса: «Слово *социализм* неизвестно нашему народу, но смысл его близок душе русского человека, изживающего век свой в сельской общине и в рабочей артели. В социализме встретится Русь с революцией». Европейская идея, усвоенная русской интеллигенцией («европейским классом», по Герцену), найдет свое осуществление в русском народе. «Социализм ведет нас обратно к порогу родного дома, который мы оставили, потому что там тесны были его стены, потому что там обращались с нами, как с детьми. Мы оставили его немного недовольные и отправились в великую школу Запада. Социализм вернул нас в наши деревенские избы обогащенных опытом и вооруженных

знанием. Нет в Европе народов, более подготовленных к социальной революции, чем все неонемеченные славяне, начиная с черногорцев и сербов и кончая народностями России в недрах Сибири <...> Я чую сердцем и умом, что история толкается именно в наши ворота» (VII, 229, 253; VIII, 494). Русскому народу после революции нетрудно будет привить себе социализм. «Отделавшись от царя Николая», он сразу превратит в действительность мечту, недостижимую для Запада. «Социализмом революционная идея может у нас сделаться народной. В то время как в Европе социализм принимается за знамя беспорядка и ужасов, у нас, напротив, он является радугой, пророчащей будущее народное развитие <...> Время славянского мира настало. Таборит, общинный человек, тревожно раскрывает глаза. Социализм, что ли, его пробудил?» (VIII, 53, 56).

Конечно, в этой своеобразной идеализации общины было много наивного утопизма, и недаром позднейшее поколение упрекало за нее Герцена. Конечно, община не сыграла той роли, которую предназначал для нее наш «барин-социалист»⁷. Но не в ней суть дела. Она — в осанне социализму и в теории мессианского призвания России. И та, и другая прочным «завоеванием» вошли в русскую интеллигентскую душу, воспитывая в ней те струны, что ныне, празднуя пробуждение русского народа, зазвучали на весь мир. «Коммунизма бояться нечего, он же неотвратим, это будет истинная ликвидация старого общества и введение во владение нового» (VI, 430), — вот лозунг, брошенный нашему «европейскому классу» его вождем ровно семьдесят лет тому назад. Что же, разве не современен теперь этот лозунг?

В течение семи десятилетий уясняла и заботливо углубляла его наша общественно-политическая мысль и вот, наконец, спала завеса и во всей своей жуткой реальности предстал «новый мир», выстраданный в подполье, вырешенный в бесконечных сектантских спорах, искупленный каторгой и казематами. На практике познали мы смысл различия, с такой назидательной ясностью и поразительной злободневностью терминологии устанавливаемого Герценом: «Главное различие между социалистами и политическими революционерами состоит в том, что последние хотят переправлять

и улучшать существующее, оставаясь на прежней почве, в то время как социализм отрицает полнейшим образом весь старый порядок вещей с его правом и представительством, с его церковью и судом, с его гражданским и уголовным кодексом, — вполне отрицает так, как христиане первых веков отрицали мир римский». И уж, конечно, прежде всего истребляет новый мир презренную «представительную систему» — это «хитро продуманное средство перегонять в слова и бесконечные споры общественные потребности и энергическую готовность действовать». Разумеется, «ни этих вселенских соборов для законодательства, ни представителей в роли первосвященников вовсе не нужно» (V, 440, 494)...

Воистину, brave матрос Железняк⁸ имел бы полное основание подтвердить звучной цитатой из Герцена свой решительный поступок 5 января 1918 года... если бы это не было практически излишне...

Однако, достаточно. Это тема для монографии, а не для схематичной журнальной статьи. Этим букетом цитат мне сейчас хочется реабилитировать лишь самую простую истину, столь часто отрицаемую ныне в ложных полемических целях: истину глубоких духовных корней русской революции. Не извне навязана она русскому народу, а является органическим его порождением со всеми светлыми и темными сторонами своими. Она есть одновременно апофеоз и Немезида истории русской интеллигенции, русской политической мысли, и трудно сомневаться, что со временем она будет признана моментом напряженнейшего бытия России. Она — страшный суд над всеми нами...

О, конечно, не может быть сомнения и в том, что Герцен ужаснулся бы многому, что ныне творится. Он слишком любил свободу, чтобы приветствовать такое осуществление своих чаяний. «Всю жизнь я служил одной и той же идее, имел одно и то же знамя, — недаром писал он Маццини в 50-м году: — война против всякого догматизма против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности» (VI, 141). Ополчаясь на «принципы 89 года», он не замечал, что сам попадает под их обаяние, и это не замедлили поставить ему в вину, как «человеку сороковых годов», его более последовательные преемники. Вероятно, он ужаснулся бы

многому из того, что теперь свершается, но это не освобождает его от прямой ответственности — разве не говорил он с подъемом про «сентябрьские дни в продолжении годов»?! А тот протест против «западного мещанства», в котором пафос века сего доходит до апогея, — разве не готовился он поколениями русской интеллигенции, всевозможными струями русской мысли? Разве революция, как в господствующем аккорде, не сливается в нем с реакцией?..

Это благодарнейшая задача уже не так далекого будущего — вскрыть национальные истоки великого кризиса наших дней, его светлого и темного ликов. И не только благодарнейшая, но и насущнейшая. Интеллигенция наша часто не хочет ныне узнавать себя в революции. Это не только великая ошибка, но и великий грех: чтобы действительно исправиться, чтобы реально совершенствоваться, нужно прежде всего познать себя.

1925

Революционер-демократ

1

«— У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку...»¹ Читая Герцена, всякий раз невольно вспоминаешь эти обращенные к нему слова Белинского. Нельзя, кажется, более точно и метко выразить впечатление от всего духовного облика, от всей индивидуальности Герцена, от каждой страницы его писаний. Да, дыхание, цветение, прометеевская поэзия ума — вот чем пронизаны эти страницы. Да, аромат ума — вот что прежде всего ощущается и пленяет в их авторе. «Герцен все понимал» (Шелгунов)². Ум широкий и вместе с тем конкретный. Бесстрашный, «беспощадный, как Конвент», — и вместе с тем живой, взволнованный, «осердеченный»³ (по определению того же Белинского). Глубокий — и вместе с тем на редкость блестящий, сверкающий, вопреки известному афоризму Ницше «все, что золото, не блестит»⁴. Иронический — и одновременно романтический. Владеющий одинаково и лиризмом, и сарказмом, и парадоксом. Среди мировых писателей подобного же склада ум был у Гейне⁵.